

## ЗА ЧИСТОТУ ДУШИ И МУКИ

И всё-таки поэт — звезда.

Л. Васильева

...чтоб тайная струя страданья  
согрела холод бытия.

Б. Пастернак

Я встретила с Наташей Медведевой — страшно вспомнить, в каком году, так давно это было. А когда-то — ещё раньше — мы жили в одном доме. Но тогда я была совсем маленькой, и помнила её смутно. Первая осознанная встреча состоялась в литобъединении при ДК «Россия», порог которого я с отчаянной решимостью перешагнула в 13 лет. В комнате находилось несколько человек. Всем были розданы листочки со стихами, которые в тот день должны были «разбирать». Такой листочек лёг и на мой стол. Я прочла: «Песня». Помню, речь там шла о любимом, который любил героиню всю жизнь, но осмелился прийти и сказать ей об этом слишком поздно. Это были стихи Наташи. В памяти остались строчки:

Снежный ком растает  
где-то во мне...  
Скажешь, конечно,  
ты знать не могла,  
сколько лет звездою  
моей была.

Началось «разбирательство». Критические стрелы летели справа и слева. Особенно досталось неуклюжей фразе: «где-то во мне». А я не понимала, за что ругают такие чудесные стихи. И, как зачарованная, вслушивалась в их сладкую тайную музыку:

Сколько лет звездою  
моей была...

Стихи Наташи Медведевой — тогда у неё была другая фамилия — остались у меня в памяти смутным, волнующим впечатлением от нового нахлынувшего на меня мира. Мира духовно богатого, эмоционально напряжённого. Стихи были какие-то «не наши», нездешние, не от мира сего. И позже, когда я бывала у неё дома, меня поражало это её умение творить свой — несоветский, скажем, мир, свой Ренессанс посреди нашего серого совкового существования.

Но принять это тогда мешало ощущение театра, которое, как мне казалось, исходило от её жизни, ощущение того, что она играла роль той прекрасно возвышенной, безгранично доброжелательной и безмерно открытой миру и людям женщины, а не была ею в действительности. Отчего мне так казалось? Может быть, это ощущение возникло в тот вечер, когда я впервые пришла к ней домой — выразить соболезнование в связи с её увольнением с ТВ. Её муж встретил тогда меня словами: «Наташа принять не может. Она себя плохо чувствует». Меня, помню, передёрнуло. Что значит не может? Даже тяжело больных навещают. Уж сказал бы, что нет дома, что ли... И что это за дворецко-дворянский лексикон: «принять»? Вроде свои, работали вместе. Я тогда не очень поверила в её недомогание, оно казалось мне чем-то из того же театрально-барского обихода. Ну, уволили, неприятно, конечно. Но не настолько же, чтобы «недомогать». И потом, позже, когда я к ней приходила, это ощущение театральности не покидало. Меня именно «принимали»: сначала

выходил муж, занимал светской беседой, альбомами редких репродукций, а потом появлялась Наталья — уже причёсанная, продуманно одетая, непременно в туфлях на каблуках.

Да, в этом доме было интересно. Это был не домашний, а какой-то светский дом, он напоминал мне салон Мережковского и Гиппиус. Здесь по определённым дням недели собирался творческий бомонд: поэты, литераторы. Читались стихи, шли оживлённые литературные беседы и споры. Тут не принято было говорить о бытовом, смотреть телевизор — он принципиально не включался, слушали пластинки с записями Ахмадулиной — кумира Натальи. Свои стихи она читала «под Беллу», и это было так удивительно похоже, что услышавший впервые Наташину манеру читать Н.Куракин в изумлении тут же отозвался экспромтом: «Прекращаю слушать Муллина, тут вторая Ахмадулина».

Часто бывало застолье, но всегда вскладчину, каждый получал задание — что принести, сама Наталья никогда не готовила, что казалось мне странным — ведь мы все работали, а она сидела дома. Словом, это был интеллигентный дом, где витали флюиды духовности, культуры и той самой «роскоши общения», но в котором не было домашнего тепла в его традиционном понимании. И «роскошь» оставалась роскошью десерта — для редких праздников встреч, но не была каждодневным хлебом души. Меня туда не тянуло.

Потом, когда я узнала о болезни Наташи — я по привычке не очень в неё поверила, в её серьёзность и опасность. Казалось, что в этом был тоже некий налёт театральности, игры в трагическую героиню. И вдруг — как обухом по голове — весть о смерти. Как будто занавес вдруг упал, рухнул, и обнажилась жизнь. И то, что представлялось игрой, сценой, обернулось настоящим, подлинным. Как при свете ослепительной вспышки вдруг увиделось: она не играла, она была такой! Но как поздно я это поняла. Как непоправимо поздно.

Я вспоминаю наши многочасовые разговоры по телефону — по-другому она говорить просто не умела — разговоры по душам, от души, взахлёб, всласть, о литературе, поэзии — о высоком. Да, это была истинная «роскошь общения», но из-за своего напряжённого графика я не могла себе часто её позволить и, услышав порой в трубке её мелодичный, счастливо звенящий голос: «Наташенька, я всегда так рада тебя слышать», мысленно с тоской представляла себе недописанную лекцию, недожаренные котлеты, целую вереницу неотложных дел, с которыми теперь придётся распрощаться. Я обречённо устраивалась у телефона — это надолго — и знаками показывала Давиду, что ему надлежит сделать вместо меня. Давид чертыхался, — словом, этот звонкий, празднично отрешённый голос вносил сумятицу и раздрай в наш налаженный ритм существования, и я, когда подходил мой черёд звонить, всё чаще наступала на горло своей песне — потом позвоню, вот сделаю то-то и то-то. Но «потом», как оказалось, может и не наступить. И ничего уже не изменить, не поправить.

Я вспомнила, как в каком-то рассказе В.Токарева писала о Геннадии Шпаликове — как встретила его случайно, как он звал её посидеть в кафе — «один час!», но у неё были дела, она отнекивалась и пошла только из вежливости («как на ленинский субботник — не хочется, но надо»). Он читал стихи — ей, всем, кто сидел рядом. Он уже начинал уходить и так прощался со всеми. Это был час высоты. Потом оказалось, что все её дела и делишки осыпались, как картофельная шелуха. А тот час в кафе остался на всю жизнь.

Вообще, что считать главным в жизни? Может быть, те высокие душевные разговоры были гораздо важнее многих моих дел — котлет уж, во всяком случае. И как сейчас мне не хватает её голоса («а что ещё? Останется мой голос...») — растерянно скажет она в своих предсмертных стихах). Но не с кем уже поговорить так, как с ней. И не позвонить уже никогда.

Ночь даёт обет молчанья  
всем, кто слушает её.

Месяц зорко и печально  
в сердце смотрится моё.

Жизнь погасла на экране.  
Телефонный спит звонок.  
В этом мире каждый ранен,  
нелюбим и одинок.

Полуночное гаданье:  
карты листьев по воде...  
Обещание страданья  
и свиданья на звезде.

Смерть как-то по-иному всё высвечивает. И то, что мне казалось в ней, в её стихах неким изыском, экзальтированным, пафосным, намеренно поэтичным — сейчас видится другим. Вернее, хочется назвать это по-другому: жаждой прекрасного, артистизмом духа, стихотворного слова, душевного жеста.

Помню, как Наташа устроилась к нам на ТВ. Я тогда работала в «Молодёжке», а она пришла в «Выпуск». Но продержалась там очень недолго. Как-то я заглянула к ней в редакцию и застала такую картину: Наталья в чём-то воздушно-летающем, изящно скрестив ноги, сидела на столе в своём привычном состоянии — с телефонной трубкой у рта — и кому-то самозабвенно что-то говорила, кажется, даже читала стихи. А вокруг взад — вперёд нетерпеливо сновали сотрудники и испепеляли её такими красноречивыми ненавидящими взглядами, что мне стало мгновенно ясно: ей здесь не работать. Ну, не вписывалась она в рутинную обстановку трудовых будней — они были для неё действительно праздниками, и многих это раздражало. Она жила праздно, празднично, ярко. Она была такая и не хотела себя ломать, приспособливаться к чьим-то правилам, вкусам, взглядам. В стихотворении, которое она нам с Давидом посвятила, были такие строчки:

И, глядя на них, понимаю,  
как встать над бедой и судьбой:  
не драться, все копыя ломая,  
а просто остаться собой.

И в другом, более раннем стихе, писала:

И снова — в боль,  
и снова — в бой,  
за право быть самой собой,  
за чистоту души и муки.

Так вот она всегда была самой собой, ей не надо было к этому себя призывать. Да, она играла. Но в этой игре была своя правда, своя искренность, своя красота. Как писал Пастернак о Мейерхольде: «Если даже Вы в это выгались, Ваша правда, так надо играть...» И он же — Елене Виноград, восхищённо: «Ты так играла эту роль!» Пастернак и сам играл всю жизнь, «как играют овраги, как играет река».

Она играла свою жизнь, творила мелодию своей судьбы, прислушиваясь, как звучит: высоко? Чисто? Извлекала из неё ноты больших и маленьких радостей: много путешествовала, писала оттуда письма друзьям — непременно в стихах, щедро дарила

акrostихи, посвящения, для всех находила добрые, тёплые слова. Порой доброжелательность её мне даже казалась чрезмерной, какой-то всеядной: могла похвалить дрянные стихи, написать восторженную заметку о чём-то совсем того не стоящем. Но потом я вспомнила, что её любимая Ахмадулина тоже всегда была так необузданно щедра на слова восхищения подчас не к самым достойным, а на упрёки гордо отвечала: «Имею право и возможность расточать. Я не оскудею». Наташа была достаточно богата, чтобы «расточать». В конце концов, так ли уж важно, заслуживает ли человек этих слов, не на аптечных же весах взвешивать, столько воздать или полстолько, если эти слова, может быть, кого-то окрылят, заставят поверить в себя, увидеть себя таким, каким Бог задумал. Наташа жила по окуджавским заповедям: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться».

Она была очень жизнелюбива. «Жизнь была радужна, жить было радостно», — писала она в одном из стихов. Помню, как мы ездили с ней на семинар поэтов Поволжья в Волгоград. После целого дня семинарских занятий возвращались вечерами к себе в гостиницу на другой конец города — уставшие, вымотанные. Тут бы до кровати скорей добраться, а Наташка мобилизовывала всех на ещё одну, ночную смену: собирала поэтов у себя в номере, где до утра не стихали стихи, споры, песни под гитару. Я под утро не выдерживала, клевала носом, а ей — хоть бы что: глаза горели, голос восторженно звенел. Она была старше нас всех лет на десять, а казалось — моложе, такой запас жизненных сил был в этой маленькой хрупкой женщине.

Помню, однажды встретились случайно в электричке, где ехали на лыжную базу в Буркино. Она была с Борисом, я — с приятелем-студентом. Мы провели там весь день. Я, как выяснилось, совершенно не умела ходить на лыжах, мой приятель устал меня поднимать и чинить крепления. Мы начали ссориться и к концу дня окончательно разругались. А Наташа легко носилась по лыжне, почти парила над ней, как будто ей помогали маленькие невидимые крылья. И ещё как-то лесом были в лесу: она с Борисом, я, Муллин — собирали цветы, жарили что-то на костре за неимением шашлыка, бродили, и такая, помню, восторженность была в ней перед этим вечным чудом природы, пастернаковская какая-то восторженность. Казалось, она тоже ощущала жизнь своей сестрой, жила в гармонии, в ладу с ней, с собой, со всем на свете. Ведь это счастье. И невольно думалось: ну как такой Бахчисарайский фонтан жизни, молодости, радости мог вдруг иссякнуть, оборваться, исчезнуть? Это не укладывалось в голове.

Наташа ведь, как и Блок, умерла неизвестно от чего. Врачи не знали, как её лечить, не могли поставить диагноз. А недавно я, перечитывая Ахмадулину, натолкнулась в одной из её статей на мысль, которая, как мне кажется, многое проясняет и в этой странной Наташиной болезни, и в её страшной загадочной гибели: «Жизнь благосклонна к поэтам совсем в другом смысле, чем к людям непоэтам, словно она знает возможную краткость отпущенных им дней, все терзания, которые могут выпасть им на долю. И за это она так сверкает, сияет, пахнет, одаряет, принимает перед ними позу такой красоты, которую никто другой не может увидеть. Вот это то, что мы, говоря условно, называем высшей милостью или Божьей милостью, и страшно подумать, какая это немилость всех других обстоятельств». За то, что поэт как никто другой ощущает праздник и чудо жизни — за эту высшую милость Бога он платит неблагополучием, одиночеством, непонятностью, болезнями, наконец, самой жизнью. Как это у Цветаевой? — «А зато... А зато — всё».

Жизнь жмёт в плечах,  
заходится в речах,  
не умещаясь в клетке календарной.  
И, расщепляя атомы души,

меняет золотые на гроши  
и кажет лик товарный и бездарный.

На птичьем языке своей любви  
напрасно душу песней не трави -  
здесь внятен звук совсем иных наречий.  
Молиться станешь — Бог не снизойдёт,  
а песня кровью горла изойдёт  
и только смерть всегда идёт навстречу.

Наташа была так неузнаваема в гробу, так её изменила, обглодала болезнь, что первая мысль была — и, как оказалось, не у меня одной — нет, это не она. Это было не лицо — лик, библейский, истончённый до прозрачности; она была красива, даже прекрасна в гробу, я даже подумала: «Наверное, такой бы она хотела себя сейчас видеть». Но это лицо не имело к ней никакого отношения. Узнать было невозможно. Это была не она. Но где же она? Казалось, мы не её хороним, кого-то другого. А сама она где-то есть. Ведь мёртвой мы её не видели. А вдруг это знак, намёк, что мы — не умрём, не можем умереть до конца? Вдруг — существует? Как это у Баратынского: «Ты сладострастней, ты телесней живых, блистательная тень!» Не осознаётся до конца, что её уже нет. До сих пор не осознаётся.

Хотя сама она, видимо, знала, предчувствовала. Она никак не показывала этого внешне, держалась бодро до последнего, но вот в стихах, в последних её стихах это горькое предчувствие конца ощущается очень остро:

Жизнь, и Смерть, и Любовь — всё стихи,  
и волна на волну набегает.  
О бессилие мудрых стихий!  
Мы уйдём — и никто не узнает.

«Когда человек умирает — изменяются его портреты». Эта печальная истина применима в первую очередь к поэтам. И стихи их — они тоже изменяются после смерти. Их читаешь уже другими глазами и уже другое в них видишь. Вот строчки из очень ранних («Память»):

Рваною раною —  
глыба из мрамора.  
С абрисом бронзовым,  
с пряными розами... —

это она писала когда-то о смерти близкого человека. А теперь эти строки — и о ней тоже.

Как горько плакала погода,  
пока та женщина спала,  
как, выгнув туч тугие своды,  
к ней в окна билась и звала!

А после, в зное небывалом  
спалив всё, что могло гореть,  
ей тщетно душу согревала  
и не умела отогреть...

Это уже не о погоде, не о природе — о душе человеческой. Вообще это отличительное свойство стихов Наташи Медведевой: природа в них не просто декорация, пейзаж, не просто зарисовка с натуры, она у неё всегда одушевлена, живёт в одном ритме с жизнью сердца.

Как жить в корысти на земле,  
что так беспомощно беспечна,  
чьё бескорыстье бесконечно  
и — зайчик солнечный в стекле?

Или:

... небосвод, чья  
от любви сиротская свобода  
как осенью, просторно холодна.

Или:

Две серебристые ветлы  
печалью светлую полны...

Это «осердечивание» природы делает её пейзажи духовными, думающими и чувствующими. Наташа всегда ощущала себя частью природы, вселенной, частицей всего живого. Безумно любила животных. Казалось бы, кто не любит? Я сама очень люблю собак, много пишу о них, недавно книжку о бездомных псах выпустила. Как-то мы говорили с Наташей на эту тему, и она мне сказала: «А я не пишу о них — я их просто подбираю». Меня так устыдили тогда эти слова. И хотя я тоже в общем-то их подбираю, и лечу, и подкармливаю, и пристраиваю, где могу, но вот такой подвиг, как держать у себя трёх собак и 17 кошек — мне не по силам. Это действительно подвиг, причём непоказной, неблагодарный, я отлично представляю, каких жертв и лишений это всё стоит, и тут просто преклоняюсь перед её самоотверженностью.

Помню, как зимой отключили у всего нашего микрорайона на несколько дней отопление, были страшные морозы, мы дико мёрзли, а Наташа больше всего переживала за своих животных — чтобы они не простудились, не заболели, и обрывала телефоны ЖЭКов, авариек, тщетно взывая к их совести: «Поймите, у меня звери мёрзнут!» Можно себе представить, что они ей отвечали.

Вот сейчас Наташи нет, а её кошки и собаки остались, пережили её, у кошек родились котята, и все они продолжают жить у неё. Друзья заботятся о них в память о ней, и это так замечательно.

Многое можно было бы вспомнить. Наташа вовсе не была святой, как можно подумать, читая некоторые статьи о ней. У неё был нелёгкий характер. Она легко обижалась, подчас на пустом месте, придумав себе какую-то несуществующую обиду. И сама могла легко обидеть — была вспыльчива, импульсивна, порой несправедлива. Но среди поэтов, надо сказать, никогда не было идеальных людей и праведников. Наташа тут вовсе не исключение. Но вот этот свой извечный бой — последний бой за право быть самой собой, за чистоту души и муки — она выдержала с честью. Она выстояла в том бою.

Как говорил Мандельштам, смерть — это тоже художественное деяние поэта, завершение его художественного существования. Смерть Наташи Медведевой была именно такой. И перед лицом той адской муки, которую она терпела в последние полтора года, так стойко это всё перенося, что никто даже не догадывался, что она умирает, перед лицом этой

беспощадной бездны, — «уж сколько их упало в эту бездну, развёрстую вдали», — но каждый раз стоишь как громом поражённый, в который раз постигая, как впервые, эту страшную истину, что все мы смертны — перед всем этим такими мелкими и ничтожными кажутся все наши текущие дела и делишки, вся эта внутривоэтическая мышьяная грызня, выяснения отношений, борьба амбиций — всё это кажется такой мельтешней и суетней («жизни мышья суетня»), которую, как известно, не приемлют музы. И перед её изменившимся портретом испытываешь сейчас то же чувство, которое охватило когда-то Наташу в Храме в Новом Афоне перед ликом Пречистой Мадонны, явившей ей тогда «высшего страданья чистоту», и чей образ вызвал у неё такой бурный всплеск раскаяния, отчаяния, боли:

Боль без потерь, любовь без жертв,  
пустой ли звук, красивый жест —  
прости всё то, что напоказ,  
и то, что скрыто внутри нас —  
что убиваем, не родив,  
что погребам, не убив,  
и, заживо погребено,  
в нас бьётся и кричит оно!

У Наташи есть строки, которые я у неё очень люблю — о самом, может быть, неуловимом — о зарождении любви, о почти физическом ощущении времени, о мудрости постижения себя и мира:

И места нет сейчас словам.  
Лишь из ночного поднебесья  
гремит торжественную мессу  
огромный сосенный орган.  
Витыми теплится свечами  
луной зажжённый гибкий дрок,  
и что-то важное над нами,  
такое, как когда-то Бог..  
Но... сизый стелется дымок  
и гасит боль воспоминаний.  
Я не распутаю словами  
горчайшей нежности клубок.

То, что, кажется, невозможно выразить словом, оказалось под силу её стихам.

Как после кораблекрушенья  
очнулась я у строгих скал —  
одна до головокруженья  
среди гулкой гальки и песка.  
И чайкой, пойманною в невод,  
себя и сети вдрызг круша,  
запутавшись в тенетах нервов,  
кричала и рвалась душа!  
Тогда из красного тумана  
сквозь чьи-то смех и голоса

так ласково и необманно  
мне выплыли твои глаза.

Эти глаза ласково и необманно смотрели на Наташу всю оставшуюся жизнь, все 34 года, что они прожили вместе. Борис. Я помню, как он смотрел на неё за столом, где она царила в центре компании, украдкой любуясь и гордясь ею, как старался собрать в лесу для неё самый красивый букет и по-детски расстраивался, что у Миши Муллина он получался богаче; помню, с какой теплотой в голосе всегда о ней говорил. Он хорошо держался на похоронах: светло рассказывал о её последних днях, чутко отзывался каждому участию, каждому сказанному о ней слову. Я с тяжким состраданием думала: это он сейчас, пока рядом люди, а что будет потом, когда он останется один в этих стенах... Гнала от себя эти мысли.

Я не знаю, какие тут могут быть слова утешения. Чем тут вообще можно утешить. Но, может быть, вот эти Наташины строчки, которые, как мне кажется, и о нём тоже — о их любви:

Горит под грешным солнцем юга  
свеча любви безгрешной — юкка,  
и ей вовек не отгореть.

Эта свеча — свеча их любви, свеча Наташиной поэзии, её светлой короткой жизни будет всегда теперь гореть в небесах. Гореть в его памяти. В наших душах.

На кладбище Куракин читал Наташины стихи, а я вспоминала её трепетный, звенящий и парящий — теперь уже где-то в небе — голос. «...то прежний голос мой провидческий звучал, не тронутый распадом», — вспомнился Пастернак. А сама она сказала о себе так трогательно беззащитно:

Мольбою о любви останься в ней,  
мой голос, мой ребёнок меж людей.

Я часто бываю на её могиле. Недалеко похоронен мой отец, и, идя от него, я всякий раз захожу к ней. Там всё по-прежнему. Только тогда был цветущий август, а сейчас осень. Безнадёжно прекрасная русская осень с тоскою запрокинутых осиновых листочков, с этим сизым дымком, сиреневатым паром от стволов и земли. Это не пальмы юга. От этой красоты хочется плакать.

Осыпается лес. Засыпает, шурша...  
Конфети устилает мой путь.  
Облетает с деревьев и душ мишура,  
остаётся лишь голая суть.

Как вздетые руки в пролёты небес —  
задрожавшие струны осин.  
И звучит осиянней торжественных месс  
тот осенний лесной клавесин.

P.S. Однажды в магазинной сутолоке меня остановил, тронув за рукав, незнакомый человек. Он назвал дом, где я жила когда-то в детстве — мы жили там вместе с Наташей в старой коммуналке на 20 семей. Меня поразило, что он меня узнал — ведь прошло столько лет. Уже и дома того давно нет, и людей почти никого в живых не осталось. В этом была какая-то мистика. Мужчина взволнованно спросил, не знаю ли я, где сейчас Наташа (он



назвал её девичью фамилию). Я, как зачарованная, смотрела в его тревожные глаза, и в памяти медленно, как со дна морского, всплывали строки:

Снежный ком растает  
где-то во мне...  
Скажешь, конечно,  
ты знать не могла,  
сколько лет звездою  
моей была...

Было грустно, что свет от звёзд идёт так непоправимо долго. Но светло от мысли, что всё-таки он доходит до наших душ. Обязательно доходит.

20 августа 2000 г.